ПАВЕЛ ГОРОХОВ

И ЕЩЁ РАЗ ПРО КОНЕЦ СВЕТА



СБОРНИК РАССКАЗОВ

Павел Горохов

И еще раз про конец света

https://litres.ru/74767047
SelfPub; 2026

Аннотация

Они знают, как спасти человечество. Они всё рассчитали. Почти.

«И ещё раз про конец света» — пять фантастических рассказов Павла Горохова о хрупкости мира и опасной уверенности в собственной правоте. Здесь открытия испытывают человека на прочность, а самые убедительные объяснения могут оказаться роковым заблуждением. Тревожная, временами жестокая проза с чёрным юмором и неожиданными развязками — о том, как легко не заметить главное, даже когда на кону стоит всё.

Павел Горохов
И еще раз про конец света

Сборник рассказов

«Судьба — слепая могучая бабища
с мозгами крокодила и с его же
этическими представлениями»

Борис Стругацкий, «Поиск
предназначения или двадцать
седьмая теорема этики».

НЮАНС

Их дружба была странной и, как они сами шутили, «неустойчивой, как мост между двумя материками». Михаил Громов, физик-теоретик, мыслил категориями полей, вероятностей и изящных уравнений. Пётр Вальцов, историк-архивист, видел мир как бесконечную, пульсирующую паутину причин и следствий, сплетённую из человеческих поступков, идей и случайностей. Объединяло их одно — обсессивная, почти болезненная идея, которая родилась на пятнадцатом году их знакомства за бутылкой дешёвого ко-

ньяка на кухне в хрущёвке у Громова.

— Ключевой узел, — говорил Пётр, водя пальцем по конденсату на запотевшем окне. — Не точка бифуркации, а именно узел. История это не цепь, она сеть. И есть в ней такие узлы, где множество нитей схлёстываются в один тугой ком. Разрежешь его аккуратно, и вся сеть перестроится. Расползётся по-новому. Без той мерзости, что мы знаем.

— Аккуратность, — хмурился Михаил, — это прерогатива лазерного скальпеля. А не тупого топора политики или пропаганды. Нужно найти не просто момент, а фундаментальную ошибку. Первоначальный сбой в системе. И исправить его на квантовом, то есть на индивидуальном, уровне. Как удаляют одну-единственную раковую клетку до того, как она дала метастазы.

Идея из кухонной философии превратилась в idée fixe, а затем в секретный проект в заброшенном ангаре на окраине города, финансируемый за счёт проданной квартиры и родительской дачи Вальцова. Михаил, опираясь на спорные работы полузабытых гениев, строил не машину времени в привычном смысле, а «хронодиффузор» — устройство для точечной навигации по вероятностным линиям. Это была не кабина на рельсах, а скорее… игла для темпоральной акупунктуры. Пётр копался в архивах, выискивая тот самый «узел», момент, когда будущий тиран ещё не стал собой, но уже нёс в себе семя будущей катастрофы. Он нашёл его в маленьком австрийском городке Линц, в 1899 году. Четырёх-

летний Адольф, только что потерявший младшего брата, запуганный деспотичным отцом и чрезмерно опекаемый матерью, впервые проявил странную, болезненную реакцию на жестокость — не отторжение, а morbid fascination, смешанную с ощущением собственной униженности.

— Здесь, — показывал Петр Михаилу психологический портрет, составленный по воспоминаниям соседей и родных, — трещина в его картине мира. Если бы в этот момент появился сильный, добрый, авторитетный образец иной реакции… или если бы эта трещина привела к полному, тихому краху, а не к компенсаторной мегаломании…

— Или если бы клетка просто перестала делиться, — холодно резюмировал Михаил.

Этика утонула в сизифовом труде. Годы ушли на расчёты, на поиск «аномалии Пайерлса», на пайку хитроумных схем, на бессонные ночи и споры, которые уже не были спорами, а взаимной подпиткой маниакальной уверенности. Они не были злодеями. Они были хирургами, которые готовились к уникальной операции по спасению пациента по имени «Человечество». Их «Хронос-1» был стерильным, блестящим инструментом.

Прыжок был ужасен. Не физически — аппарат работал плавно и бесшумно, а психологически. Это был не полёт, а падение в разноцветную пустоту, где время текло как густой мёд, и казалось, будто миллионы глаз смотрят на них

из небытия. Они материализовались в роще за городом, в предрассветный час. Воздух был невероятно чист, пах хвоей, навозом и свежескошенной травой. Петра замутило. Не от перемещения, а от свалившейся на него грубой реальности прошлого. Михаил, бледный, но собранный, сверялся с портативным детектором, нацеленным на биоритмическую «подпись», вычисленную по фотографиям и записям.

Они нашли его у забора небогатого дома. Мальчик в коротких штанишках и грубых ботинках. Он не чертил свастик, не мучил кошек. Он смотрел, как большой рыжий муравей тащит соломинку, втрое больше его самого. Лицо было сосредоточенным, детским. У Петра сжалось горло.

— Миша… может…

— Нет, — отрезал физик. Его рука с индуктором (устройство, похожее на фонарик, испускало тонкий, невидимый луч, вызывающий мгновенную фибрилляцию и остановку сердца) не дрожала. — Мы не на экскурсии. Мы — функция исправления.

Луч, едва заметное мерцание в воздухе, и мальчик вздрогнул, словно от внезапного озноба, присел на корточки, а потом мягко опрокинулся на бок. Муравей упорно тащил свою ношу дальше. Мир не содрогнулся. Не прогремел гром. Просто одинокая детская жизнь, тихо и безболезненно, угасла.

Пётр, рыдая, на ощупь проверил пульс. Пульса не было. Михаил тронул его за плечо.

— Всё. Возвращаемся.

Обратный путь был хаотичным. Приборы бешено мигали, капсулу потряхивало, как в турбулентности.

— Хронопомехи, — скрипя зубами, пробовал стабилизировать аппарат Михаил.

Люк наконец открылся, но не в ангаре, а в полуразрушенном подвале. Вместо ровного гула оборудования — тишина, нарушаемая далёкими хлопками и воем сирен. Воздух был спёртым, с привкусом гари, химикатов и… чего-то сладковато-гнилостного, знакомого по памяти больничных коридоров.

Они выползли наружу, в мир, который оказался страшным и чуждым. Небо было неестественно темно-жёлтого цвета. Город, их город, лежал в руинах, но это были не следы бомбёжек. Это была картина долгого, системного упадка: обрушившиеся из-за отсутствия ремонта крыши, заросшие бурьяном улицы, ржавеющие скелеты машин. И люди. Мало людей. Те, что были, двигались медленно, закутанные в грязные брезентовые комбинезоны, многие в самодельных респираторах. Они кого-то хоронили в черных пластиковых мешках в общих рвах на бывшем стадионе.

Паника настигла их позже, когда они, пробравшись в разгромленный институт, нашли работающий терминал с фрагментарной базой данных.

Не было Второй Мировой. Не было нацистской Германии. Не было и многого другого. Мировая война всё же случилась — в 1914-м, но это была короткая, жестокая бойня, быстро

заглохшая из-за того, что армии… вымирали. С 1915 года по планете прокатилась пандемия, получившая название «Анчар». Не грипп, а нечто новое — вирус, поражавший гематоэнцефалический барьер, вызывавший жестокие неврологические расстройства и тотальный иммунодефицит. Смертность достигала 35%.

Цивилизация рухнула не под гусеницами танков, а под кашлем и лихорадкой в постелях.

Не было послевоенного бума. Был долгий, тёмный век выживания, релокализации, изоляционизма. Технологии развивались уродливо, рывками. В основном в областях биозащиты, дезинфекции, кремационных технологий. Атомная энергия была открыта на тридцать лет позже. Космонавтика оставалась мечтой сумасшедших.

— Мы… мы принесли это, — Пётр говорил, глядя в пустоту. Его голос был плоским. – Мы не учли банального нюанса, — он нервно засмеялся — Простуда. Сезонный грипп. Риновирус. Тот самый коронавирус, что ходил в наше время. Для их иммунитета… Мы были ходячими биологическими бомбами. Мы убили больше, чем нацисты когда-либо смогли бы.

Михаил молчал, листая отчёты. Его лицо было каменным. Он видел не только цифры смертности. Он видел логику нового мира. Страх перед заражением стал основной движущей силой политики. Возник «Санитарный Интернационал», а потом и «Союз Чистых Государств». Идея чистоты

— расовой, культурной, биологической — проросла на этой почве не как безумная идеология, а как суровая, «научно обоснованная» необходимость выживания. Ксенофобия стала нормой, закреплённой в законах о тотальном карантине, в запретах на миграцию, в жёсткой сегрегации «проверенных» и «непроверенных» зон.

— Мы не убили идею, — наконец сказал Михаил. — Мы дали ей новую, неубиваемую форму. Страх перед чужим как перед носителем смерти. Это сильнее, чем ненависть к инородцу. Это — инстинкт.

Они вышли на улицу. Руины, грязь, страх в глазах прохожих. И тут Пётр увидел это. На облупившейся стене бывшего дома культуры, поверх потрёпанного плаката с изображением человека в противогазе, было нанесено свежее граффити. Символ. Не угловатая свастика Третьего Рейха. Нет. Это была стилизованная, почти элегантная спираль, напоминающая одновременно двойную спираль ДНК и стилизованный вирус с шипами. Она была заключена в круг, перечёркнутый снизу стрелой, похожей на медицинский скальпель. И до боли знакомые буквы – «SS». Эмблема военизированной организации «Sanitary Shield» — «Санитарного Щита» — карающей руки Союза Чистых Государств.

И под ней — лозунг, нанесенный ровным, почти готическим шрифтом: «Чистота — залог жизни. Единство — щит от заразы».

Пётр замер, чувствуя, как почва уходит из-под ног. Миха-

ил подошёл и долго смотрел на символ. В его глазах не было удивления. Была лишь ледяная, всепоглощающая тоска.

Они стояли у стены с новым символом нового ада, который построили своими руками, нечаянно чихнув в прошлом. Они были не мстителями и не спасителями. Они были нулевыми пациентами.

Вдалеке, на укрепленной вышке, громкоговоритель прохрипел новый указ об ужесточении санитарного контроля в секторе. Голос был безличным, эффективным и не терпящим возражений.

ПРЕДЕЛ СИНГУЛЯРНОСТИ

Я проснулся от того, что Эя гладила меня по щеке. Ее пальцы пахли озоном и утренним дождем — вчера она всю ночь работала в лаборатории атмосферной физики, а потом, видимо, решила не ложиться, а встретить рассвет на куполе.

— Сегодня, — сказала она просто.

Я кивнул. Двадцать третье июня. День Открытой Памяти.

Мы жили в башне над облаками. Внизу, в парящей дымке, просыпался город — город, который отстроили заново после Великой Чистки середины века. Теперь здесь не было ни бетонных коробок, ни рекламных щитов, кричащих о ненужном. Только легкие, «дышащие» дома, зеленые террасы и тишина. Люди говорили негромко, потому что им было интересно слушать друг друга.

Мы — поколение Свободных. Философия, которую мы исповедуем, называется открытый индивидуализм. Это трудно объяснить человеку из двадцать первого века. Тогда люди путали одиночество со свободой, а эгоизм — с индивидуальностью. На деле всё проще: ты можешь быть кем угодно, делать что угодно, думать что угодно, ровно до тех пор, пока твоя свобода не становится стеной для свободы другого. У нас нет конкуренции, потому что каждый ищет свой уникальный путь. Если ты гениальный садовник — ты садовник, и тебя не мучает, что сосед гениальный астрофизик. Мы не завидуем, мы интересуемся.

Эя, например, в прошлом году две недели жила в пустыне Гоби, просто чтобы понять, как звучит ветер в пустоте. А вернувшись, написала работу по климату, которая перевернула представления о терраформировании. Её никто не заставлял. Просто она услышала ветер.

Я историк. Точнее, как у нас говорят, «архитектор времени». Моя задача — не просто знать даты, а чувствовать ткани эпох, чтобы мы случайно не соткали снова ту серую, колючую материю, из которой были сшиты двадцатый и двадцать первый века.

— Ты пойдешь на площадь? — спросила Эя, заправляя за ухо выбившуюся прядь.

— Да. Сегодня моя очередь.

Она понимающе сжала мою руку и ушла. У неё был эксперимент, который нельзя было прервать. В этом тоже был

наш индивидуализм: мы любили друг друга глубоко и нежно, но никогда не требовали «быть рядом» в ущерб делу. Привязанность без собственничества.

***

Площадь Примирения была огромной чашей, вырезанной в теле старого города. Внизу, под прозрачным стеклом пола, виднелись руины — законсервированные остатки небоскребов начала века. Символ того, что мы похоронили, но не забыли.

Люди собирались в молчании. Никакой униформы, никакой помпы. Кто-то был в ярких летних комбинезонах, кто-то — в строгих античных хитонах, а один парень стоял вообще голый по пояс, разрисованный светящимися иероглифами — его способ самовыражения.

Мы обменивались взглядами, легкими кивками. Чувство общности у нас проявляется не в маршировке строем, а в этом странном резонансе душ. Ты смотришь на человека и понимаешь: он несет свою ношу, как и ты.

На высоком постаменте, оставшемся от прежнего мира, стоял Психоскоп — огромная полусфера из черненого металла, усеянная датчиками. Это было сердце обряда.

Когда часы пробили полдень, на трибуну поднялся старый Марк. Ему было девяносто три года, он помнил ещё послевоенное время, голод и страх. Его слово было весомее лю-

бых законов.

— Друзья, — начал он. — Сегодня мы снова проводим Обряд Взвешивания. Сто лет назад мы чуть не уничтожили себя. Мы победили голод, болезни, мы вышли в космос, но едва не сгнили изнутри от ненависти и желания доказать другим, что наш путь единственный. С тех пор мы построили новый мир. Мир, где каждый творец. Но память предков это не только благодарность. Это еще и наши ошибки, записанные в генах, в культуре, в страхах. Каждый год один из нас добровольно входит в Психоскоп, чтобы принять этот груз на себя. Чтобы очистить коллективное поле. Сегодня этот человек — Леон, архитектор времени.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.